

## Валенки подшитые

В селе Пятерыжск на северо-востоке Казахстана, в котором наша семья прожила с середины пятидесятых до середины восьмидесятых, главной зимней обувью как у взрослых, так и у детей были валенки (мы их обычно называли пимы). Морозы в этих краях порой достигают до минус сорока градусов, а то и ниже, что и неудивительно: рядом Западная Сибирь. Причём у родителей валенки были двух видов: рабочие и выходные, в которых они ходили в сельский клуб на киносеансы или редкие концерты и в гости.

Это была самая оптимальная обувь для зимы: тёплая, не скользкая. Валенки изготавливались в валяльном цеху Железинского райбыткомбината из так называемой давальческой шерсти, то есть заказчик привозил накопленную овечью шерсть и сдавал её в мастерскую, из которой и валялись (раскатывались, отсюда ещё одно название этой уникальной зимней обуви) катанки.

Уже будучи сотрудником районной газеты, я однажды пошёл в этот цех за репортажем о работе валяльщиков. И был неприятно поражён тем, как трудно в этом помещении дышать от большого количества войлочной взвеси в воздухе, назойливого запаха мокрой шерсти, хотя в нём и была вентиляция. Определённо, это производство относилось к вредным. И вот здесь сотворялись очень приличные валенки, которые заказывали жители не только Железинского, но и других районов Павлодарской и даже соседней Омской областей.

Однако, как бы ни были они хороши, подошвы у валенок, к сожалению, со временем стирались и истончались, вплоть до появления в них дыр. И чтобы не допустить этого, истоптанные уже катанки, а то ещё и новые, подшивались вырезанными из голенищ старых накладками. После чего валенки могли послужить своему хозяину ещё не одну зиму.

Этим ответственным делом у нас занимался отец. У него всегда были наготове моток дратвы (специальной прочной нити, которая смолилась путём протаскивания её через кусок вара) и шило. Из моих детских впечатлений запомнилась одна жуткая картина, связанная как раз с подшивкой валенок.

Случилось это ещё в далёкие пятидесятые годы, зимой. Мы тогда жили в небольшой саманной

мазанке на две комнаты. Дальняя была отведена под горницу, она же родительская спальня, а другая, с печкой, была и кухней, и детской. Детей тогда у родителей было двое—я да мой младший брат Ринат, и спали мы с ним на одной койке.

И вот однажды рано утром я просыпаюсь от запаха табачного дыма и поскрипывания табуретки. Отец, с папироской в зубах, сидел у топящейся печи и при свете керосиновой лампы (в ту пору в селе была дизельная электростанция, и электричество она производила только с шести утра до двенадцати ночи) и перед уходом на работу подшивал чей-то валенок.

Я, не высывая голову из-под одеяла, в щёлочку с интересом наблюдал за ним. Отец, засунув левую руку с дратвой глубоко в валенок, правой протыкал подошву и наживлённую к ней войлочную накладку, цеплял крючком шила дратву и продёргивал её наружу.

На плите дребезжала крышка закипающего чайника, мама хлопотала у стола, накрывая для отца завтрак. За моей спиной мирно посапывал братишка, на белёных стенах шевелились большие тени родители. А за заиндевевым окном было всё ещё темным-темно, и голая кленовая ветка, раскачиваемая ветром, иногда царапала стекло.

Эта умиротворяющая семейная идиллия вскоре сморила меня, и я стал засыпать. Как вдруг отец негромко вскрикнул и выругался.

— Ни будды, Хасян? (Что случилось?) (родители между собой всегда говорили по-татарски, пытались и с нами, но мы, понимая их, отвечали на русском, давало знать о себе постоянное общение с русскими ребятишками)— всполошилась мама и подскочила к отцу.

Я тоже живо выбрался из-под одеяла и сел, не отрывая глаз от происходящего и ещё не понимая, что же произошло.

— Кит миннян! (Отойди от меня!)—скомандовал матери отец (она, побледневшая, стояла рядом), на секунду замер, потом глубоко вздохнул и резко рванул правую руку в сторону.

Сморщился и вынул левую руку из валенка. Большой палец был весь в крови, она обильно, почти ручейком, закапала на пол. Мама вскрикнула и пошатнулась.

— Да ладно тебе, — буркнул отец, положил валенок на угол печки и, подойдя к рукомоинику, стал омыwać окровавленный палец.

Оказалось, что он нечаянно подставил в валенке палец под шило и проткнул его. А шило ведь было с крючком, и вытащить его так просто, мягко говоря, было не так-то просто — только сильно рванув в сторону и вырвав клочок мяса, что отец и сделал.

Мама метнулась в горницу, вернулась с белым чистым носовым платком. Она туго перемотала отцов палец, и платок тут же заалел, промокнув от крови. Я по-прежнему сидел молча, вытаращив глаза.

— Ну чего ты, чего? Испугался, что ли? Ерунда, мне не больно совсем. Спи давай, рано ещё, — отец потрепал мой чубчик здоровой рукой и... уселся пить чай.

А потом, сняв повязку и подождав, пока мама обильно польёт ранку йодом и снова перевяжет её, он отправился на работу — возить корма для коров на ферму.

Тогда мне всё это показалось необычайным, страшным. Но со временем, подрастая и наблюдая за отцом, я понял, что вот такие мужские поступки, связанные с преодолением боли, с жёсткой решимостью в необходимых случаях, для него дело привычное, о чём говорило обилие шрамов на его теле. Я и сам однажды ножом вскрыл себе сводившую меня с ума от боли опухоль на десне (дело было на даче, где ждать медицинскую помощь было неоткуда). И ничего, лишь прополоскал рану водкой — и выжил. Бывали и другие случаи, вспоминать о которых не хочется, да и не время.

Вернёмся к валенкам, они же пимы. Как только палец на руке отца немного зажил, он довёл работу с ними до конца, а потом взялся за другую. Так что наша семья, благодаря сноровке отца, всегда ходила зимой в хорошо подшитых валенках. А я вот не умею этого делать. Хотя уже и не надо...

А внизу — дядя Тапень!..

Зимние каникулы! Их мы ждали с не меньшим нетерпением, чем летние. Ведь зимних забав в деревне хоть отбавляй: тут тебе и катание на коньках на замёрзшем льду озера или осеннего разлива Ручьинки у Рощи, и подлёдная рыбалка, и поход на лыжах через Иртыш, и катание на санках с крутого старого иртышского берега — спуска к огородам.

Но поскольку зимой день короток, а после школы надо и родителям по хозяйству помочь, и хоть часть уроков сделать, на эти забавы времени абсолютно не оставалось: глядь в заиндевелое окно — а там уже багровый (к морозу) вечерний закат и быстро надвигающиеся ночные сумерки с яркими, слабо мерцающими звёздами в тёмном безоблачном небе. Так что на зимние игры оставалось разве что воскресенье.

А в каникулы — это ж две недели свободы! В шестидесятые Пятерьжск был особенно населён и детей было много, так что в зимние каникулы на льду пойменных озёр, на крутой укатанной береговой горке просто звон стоял от счастливых криков и смеха ребятишек.

Коньков настоящих тогда почти ни у кого не было, к валенкам туго приматывались деревянные бруски с прилаженными к ним проволочными полозками, вот на них-то мы и рассекали со скрежетом по льду на Малом взвозе или у Рощи, гоняя самодельными же деревянными клюшками шайбы (а вот шайба, помню, почти всегда была настоящей — где-то доставали).

Но больше всего детей — и мальчишек, и девчонок — суеилось на горке, уже названном спуске к огородам под берегом. Этот взвоз (как раз напротив дома Копейкиных дяди Тимоши и тётки Физы) был самым крутым — как помнится, с уклоном градусов в тридцать-сорок, — из всех имеющихся в деревне, и длиной в несколько десятков метров.

Он предназначался преимущественно для пешего спуска сельчан, как я уже говорил, к расположенным под берегом на чернозёмной луговине огородам, для выгона гусей и уток, телят на луговые пастбища летом и поения коров из бьющего внизу из песчаного обрыва большого ручья зимой.

На чём только мы не съезжали с этой горки, с радостным визгом от захватывающей скорости, от бьющего в лицо встречного ледяного ветра! Лучшее всего, конечно, было скатываться на заводских санках — с алюминиевыми полозьями, с решётчатой крашеной седушкой!

Такие санки и скользили хорошо, и обратно вверх их затаскивать было легко (за день-то удавалось съезжать до десяти и больше раз, дождавшись своей очереди — да-да, именно очереди, потому как здесь действовал самый настоящий постоянно движущийся конвейер из двух-трёх десятков ребятишек: пока одни, плюхнувшись животом на санки или солидно увесившись на них, нередко — по двое, скатывались вниз, другие, краснощёкие, все изгвазданные в снегу, вереницей карабкались обочь спуска вверх, таща на верёвочных, ремённых или проволочных поводках санки.

У кого не было санок — те лихо скатывались вниз в корытах или тазиках, часто — вываливаясь из них и с хохотом кувыркаясь по накатанной колее. Катались также, стоя на самодельных самокатах из толстого, специального выгнутого в кузнице прутowego железа.

Несколько раз видел, как взрослые парни (восьмиклассники для нас, учеников третьих-четвёртых классов, казались уже взрослыми — они были выпускниками) толпой с гоготом скатывались вниз на самых настоящих конных розвальнях с торчащими вверх специально подвязанными оглоблями!

Но верхом совершенства и предметом всеобщей зависти нам всем тогда казались санки, сотворённые с немецкой основательностью и добротностью дядей Адольфом Ляйрихом для своих сыновей Сашки и Вовки! Основой их было то же прутковое железо, овално выгнутое таким образом, что низ служил полозьями, а верх — рамой, на которой намертво было прикреплена толстая и достаточно широкая и длинная, гладко обструганная плаха-сиденье.

На этих санях, не мелко дребезжащих на ходу, как разбитые алюминиевые, а солидно побрякивающих и плавно покачивающихся на стремительном ходу, сразу могли уехать вниз несколько человек! Причём быстрее и куда дальше, чем на обычных санках.

И желающих прокатиться на ляйриховских санках, конечно, было хоть отбавляй! Надо сказать, что Сашка с Вовкой не жадничали и давали попользоваться своими санками хоть раз в день всем желающим.

Там, внизу, из снежных блоков был сооружён самодельный трамплин, предназначенный для лыжников-старшеклассников. Но иногда на него наезжали и безрассудные саночники, что заканчивалось обычно разбитыми носами и сломанными санками. Потому трамплин это мы всё же избегали.

Но однажды один из братьев Ляйрихов, то ли Сашка, то ли Вовка, один наехал на стремительно мчавшихся санях на это возвышение. И воспарил! Он, слившийся с седушкой, пролетел метров, наверное, с десять, с глухим стуком обрушился на веерно раскатанный многими санками и лыжами скат за трамплином и ещё по инерции проехал по нему пару десятков метров.

Мы думали — отбил всё себе, к чёртовой матери, надо идти поднимать его и нести домой. Но Сашка (или Вовка?) сам сполз с санок и, взяв их за ремённый поводок, слегка прихрамывая, потащил к подъёму в горку. К нему уже сбежал брат, и скоро они оба были вверху. И Вовка (или Сашка?!) возбуждённо рассказывал:

— Лечу я и вижу: дядя Тапень внизу подо мной! Корову гонит от ручья и мне прутом грозит: «Я те полетаю!»

Мы не видели ни дяди Тапеня (был у нас такой в деревне мужичок-казах с таким вот странным именем и не менее странной для казаха профессией — свинопас), ни его коровы. Но видели, как высоко летел на своих знаменитых санках один из братьев Ляйрихов. И мало ли что могло быть там, внизу?..

Эх, зимние школьные каникулы! Много бы я отдал, чтобы хоть ещё раз ощутить на себе их непередаваемое очарование...

## Трактат о бане

Бани есть у всех народов. Ну, если не у всех, то у многих. Но широко известны при этом в основном

турецкие хамамы, финские сауны и русские бани. Нет, в обратном порядке, так будет справедливее. Что это такое — баня, нам доходчиво растолковывает всё знающая Википедия: «Баня в русском понимании — помещение, оборудованное для тёплого мытья человека (в технической форме парной бани) с одновременным действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских банях) или воды и пара (в русской и финской бане). Часто в русское понятие бани вкладывается весь комплекс действий, осуществляемых человеком в жарких помещениях в лечебно-профилактических, реабилитационно-восстановительных, развлекательно-оздоровительных, культовых (ритуальных) и досуговых целях». Ну а я бы сказал проще: баня — это праздник для души и тела, и, полагаю, вряд ли кто возьмётся оспаривать эту истину.

Я почему-то помню первые свои помывки в бане с возраста, когда мне было лет десять, пожалуй. Мы тогда уже жили в Пятерьжске, бывшем казачьем форпосте на Иртыше, коренные обитатели которого, естественно, знали толк в парных. У нас своей бани не было, и родители ходили с нами, детьми, к соседу через дорогу, трактористу Михаилу Петровичу Кутышеву. Как мы там мылись, как выглядела баня — почему-то не запомнилось. Может быть, потому, что я ещё толком не распознал этого «праздника для души и тела» и походы в баню для меня и моих братишек были чем-то вроде обязательной повинности. Не то чтобы неприятной, но, на мой тогдашний взгляд, не особенно продуктивной. Поскольку потраченное на баню время можно было с большей пользой провести на улице, в играх со сверстниками.

А вот родители, особенно отец, всегда относились к банным дням с особым пиететом. И, уже помытые, распаренные, со светящимися умиротворёнными лицами, ещё долго заседали после помывки за столом у Кутышевых, в центре которого сипел испускающий блики большой никелированный самовар. Но пили взрослые, конечно же, не только чай: родители обязательно несли с собой бутылочку и что-нибудь из своей закуски для общего стола. И такие послебаннные посиделки затягивались не на один час.

Потом мы стали ходить в баню к своим родственникам Саттаровым (сестре отца Сагадат-апа) — они купили дом у семьи моего одноклассника, Валерки Писегова, с баней. Она была небольшая совсем, по-моему, плетушка (это когда пространство между двумя сплетёнными из ивовых прутьев стенкам засыпается землёй), но по жару — просто термоядерная, уши начинали сворачиваться в трубочку уже в предбаннике. Кто-то скажет: а зачем так измываться над собой? Так ведь и не каждый ходил мыться в такой жар, пропуская вперёд тех, кому это по нраву.

Обычно первыми шли большие любители попариться, как, например, мой отец. Тут я веду рассказ уже о ту пору, когда на нашу семью совхоз выделил аж четырёхкомнатную квартиру с отоплением от автономного котла, и мы сами построили у себя во дворе из саманного кирпича уже собственную баню.

Так вот, отец делал по несколько заходов в парную, хлеща себя веником с небывалым остервенением, при этом рыча и взвизгивая. Попарившись, он, багровый как рак и с прилипшими к телу берёзовыми листьями, вылетал из бани и падал в снег (зимой его обычно во дворе было много, и к хозяйственным постройкам расчищались лишь тропки), катался в нём и опять бежал в парилку. Домой он уже почти полз, настолько бывал обессил, и долго потом отлёживался на диване, приходя в себя.

И уж после него в баню поочерёдно шли остальные члены семьи, кому такой сильный жар был не нужен. Но с годами и я распознал прелесть самоистязания веником в раскалённой парной, после которого наступает телесное и духовное обновление и тебя посещает истинная благодать. Заковыристо сказал, да? Но истинные любители попариться меня, надеюсь, поняли. И уже в шестнадцать-семнадцать лет я с удовольствием поддал пару—по чуть-чуть, как учил меня отец, окатывая из ковша раскалённые камни, отрывающиеся громким шипением. И пара при этом в бане практически не было видно, кроме струящегося, почти прозрачного, как кисея, жаркого марева. Вот это и был правильный, почти сухой, он же целебный, пар, избавляющий от простудных, ревматоидных и прочих заболеваний, ну или хотя бы облегчающий их.

В армии, куда меня призвали в ноябре 1969 года, париться поначалу было негде. В нижнетагильской учебке, где я провёл первые полгода службы, мыться нас строем водили в одну из ближайших городских бань. Помню, как нас, призвынников, перед первой помывкой предварительно всех остригли налысо, а после сразу переодели в новенькое обмундирование, и мы тут же на какое-то время перестали узнавать друг друга, поскольку стали выглядеть совершенно одинаково.

Париться тогда было некогда—нам давали время лишь на помывку, без прочих излишеств, и в парилку если удавалось заскочить, то лишь на несколько минут. Последующие полтора года армейской службы также не удавалось толком попариться—всё бегом, бегом: пока один взвод помылся, ополоснулся, уже следующий его подпирает... Да и парилки толковой не было в самодельной солдатской бане. И уже лишь дома, после увольнения в запас, я отвёл душу—за три или

четыре захода в парилку исхлестал об себя весь берёзовый веник, лишь прутья от него остались!

Ну а дальше вновь потекла размеренная гражданская жизнь, с обязательными еженедельными помывками в бане. Это была или коммунальная в райцентре, где я через год после возвращения из армии стал работать в районной газете, или дома у родителей, к которым я время от времени наведывался по выходным, или—реже—у кого-либо в гостях в многочисленных командировках по совхозам района.

При поступлении в университет в Алма-Ате живущий там к тому времени мой одноклассник Вовка Гончаров подговорил меня съездить в общественную баню суперкласса «Алма-Арасан». Ничего подобного в своей жизни я ещё не видел: это был самый настоящий дворец, выложенный из мрамора, гранита, с венчающим крышу голубым куполом. А внутри баня выглядела ещё роскошнее, она просто вся сияла, отделанная благородными материалами, разукрашенная панно, картинами...

Ну с чем можно было сравнить её внутренне убранство? Разве что с Московским метрополитеном (простите меня, неискущённого, за вольность такого сравнения, но вот так запомнилось). В «Арасане» можно было помыться и попариться в русской, турецкой банях, попотеть в финской сауне, охладить раскалённое паром тело в бассейне. Помню, как я, блаженствующий, лежал на тёплой воде спиной и смотрел в перевёрнутую чашу купола на потолке, из сквозного круглого отверстия которого внутрь бани, прямо на купающихся в бассейне, медленно падали снежинки (была то ли ранняя весна, то ли уже начало зимы, запаматовал)...

В процессе купания мы с Володей, завёрнутые в белые простыни, как римские патриции в тоги, выходили к кафе и с благостными розовыми лицами пили душистый чаёк из самовара, закусывая печеньем, конфетами. Негромко играла музыка, туда-сюда неспешно проходили такие же румяные «патриции». Отдохнув малость, мы снова шествовали в парную.

Я бы с удовольствием провёл в такой бане-дворце целый день. Но, увы, мыться в «Арасане» хотели многие, и потому сеансы были лимитированы—час, который стоил, кстати, очень неплохих по тем временам денег—двадцать с чем-то рублей! Правда, при желании можно было и задержаться, приплатив энную сумму администратору мимо кассы. Я уже не помню, воспользовались ли мы с Вовкой такой возможностью. Но то посещение благословенного «Арасана» я запомнил на всю жизнь, потому что больше никогда в банях такого класса не был.

А спустя несколько лет, в конце семидесятых, случилось неслыханное событие: в Пятерьжске, в

этом небольшом селе на сто с чем-то дворов, впервые за всю его многолетнюю историю построили общественную баню! Как обрадовались сельчане, особенно те, у кого не было собственных теломоек (во, неологизм придумал!). Да и те, у кого они были, тоже возрадовались. Знаете, протопить баню—это не такое простое дело. Надо и дров хороших запас для неё иметь, и воду всякий раз натаскивать: во вделанный в печь чан—для нагревания горячей и в бочку в предбаннике—для холодной. А после ещё и привести баню в порядок: помыть её, вычерпать сливную яму, если там много накопилось использованной, грязной воды.

А тут заплатил какие-то копейки—и иди, парься и мойся на здоровье, не жалея воды, да ещё и в компании односельчан, с кем можно потрепаться между делом, обсудить какие-то неотложные дела. Ну просто мужской клуб! Конечно же, и женщины мылись в этой бане, но, разумеется, в установленный день. Баня работала, если не ошибаюсь, несколько дней в неделю и успевала обслужить всех желающих. Я тоже помылся в ней пару раз и остался вполне доволен.

Пар, правда, был очень влажным—он извлекался не из каменки, а из нескольких труб с просверленными в них отверстиями. Открыл вентиль—и пар, зашипев, засвистев, быстро начинал заполнять парилку густым горячим туманом, обволакивая тела моющихся и заставляя их обильно потеть и тем самым, через раскрывшиеся поры, очищать кожные покровы.

Как бы то ни было, но пятерьжцы очень любили свою баню. К сожалению, просуществовала она недолго: с перестройкой в девяностые годы совхоз «Железинский», четвёртым отделением которого и был Пятерьжск, развалился, всё производство свернулось, а вместе с ним сгнули и все объекты соцкультбыта: клуб, детский сад, даже магазины, что уж тут говорить про баню. И снова мои односельчане моются в своих банях или у соседей. Ну да это не беда. Главное—им есть где помыться.

Следующий этап моей жизни, причём самый значительный, пришёлся на Крайний Север. Я двадцать два года прожил в Эвенкии, куда уехал в 1989 году по приглашению газеты «Советская Эвенкия». Здесь, недалеко от полярного круга, где морозы зимой достигают шестидесяти градусов, а сама зима длится полгода, существует настоящий культ бани. Где ещё в долгие зимние вечера отогреться душой и телом, как не в баньке? И потому в столице Эвенкии, посёлке городского типа на пять с небольшим тысяч человек, где есть две коммунальные бани, ещё «до кучи»—несколько десятков частных.

Обе общие бани (одна на берегу Тунгуски, другая у ручья Гремучий, между ними расстояние всего в несколько сот метров) имеют прекрасные

парные, с сухим паром, который получаешь, подкидывая кипяток во вмурованные в печи обрезки здоровенных труб с раскалёнными внутри добела камнями. Мы с женой попеременно ходили в обе эти бани. С собой обязательно брали чайк с брусничкой, берёзовые веники покупали там.

Помню, как в первый год нашего пребывания в Эвенкии, в ноябре, когда уже ударили морозы за сорок (конкретно в тот день—минус сорок восемь), мы со Светланой в очередную субботу пошли в ту баню, которая поменьше,—на берегу ручья Гремучий. Оделись потеплей и—хруп-хруп по снегу, выдыхая клубы морозного пара, поспешили к ждущей нас, как мы думали, парной. Пришли, а там—замок висит и записка: «Баня не работает». Почему—объяснений никаких.

Что делать—идти домой, не помывшись? Но это было не в наших правилах, и мы потопали по этой жуткой стуже почти за километр на другой конец посёлка, к Нижней Тунгуске, где располагалась центральная баня. И ничего, дошли и хорошенько отогрелись в парной (каждый в своём отделении, конечно), помылись и, просветлённые и чистые, вернулись домой.

Но мне всё же больше нравились, да и нравятся, частные бани, в которых нет очередей, не надо толкаться локтями и прочими оголёнными частями тела у кранов с холодной и горячей водой, и на полке в парной сам себе барин, и поддаёшь пару сколько тебе надо, а не прислушиваясь к пожеланиям соседей («Э-э, погоди, ещё прежний пар не разошёлся!»). До сих пор добрым словом поминаю крошечную баньку у нашего редакционного водителя Володи Антипина, срубленную из лиственницы. Она у него скромненько устроилась среди огуречных и помидорных грядок в огороде, у крутого, сплошь поросшего лиственницей и кустарником склона над бормочущим внизу ручьём Гремучий, стекающим в приток Тунгуски—Кочечум.

Банька размером где-то всего три на два метра. Но всё было при ней: и предбанник, и каменка, и полк, и запас берёзовых веников. А малые размеры помогали ей в суровые эвенкийские морозы быстрее нагреваться, и пар здесь был просто термоядерным: аж уши в трубочку скручиваются!—говорят в таком случае. И всякий раз, когда Володя говорил как бы между прочим, что вот, баньку собирается истопить, я тут же, тоже как бы между прочим, спрашивал его: а что, хватит ли у него пару ещё на одну пару желающих попариться? И, конечно, пару на нас хватало. И ещё оставалось.

Построив новую, более просторную баню, буквально в десяти метрах от старой, Володя долго продолжал пользоваться прежней—видимо, и сам никак не хотел расставаться со старой, такой родной, обжитой, уютной, безотказной. А из новой он сделал... летнюю кухню!

Но чувствую, пора уже закругляться — ведь про баню, эту неизменную спутницу жизни всякого чисто плотного человека, можно писать бесконечно. К сожалению, переехав в большой город, я практически лишился возможности регулярно посещать частные, да и вообще — даже коммунальные

бани и обхожусь, как всякий горожанин, ванной и душем. Но это всё не то, не то. И потому, как только оказываюсь в селе у кого-то из родных, непременно прошу истопить баньку. Да их и просить не надо: все они знают, что я большой любитель попариться. Или, вернее будет сказать, — профессионал!